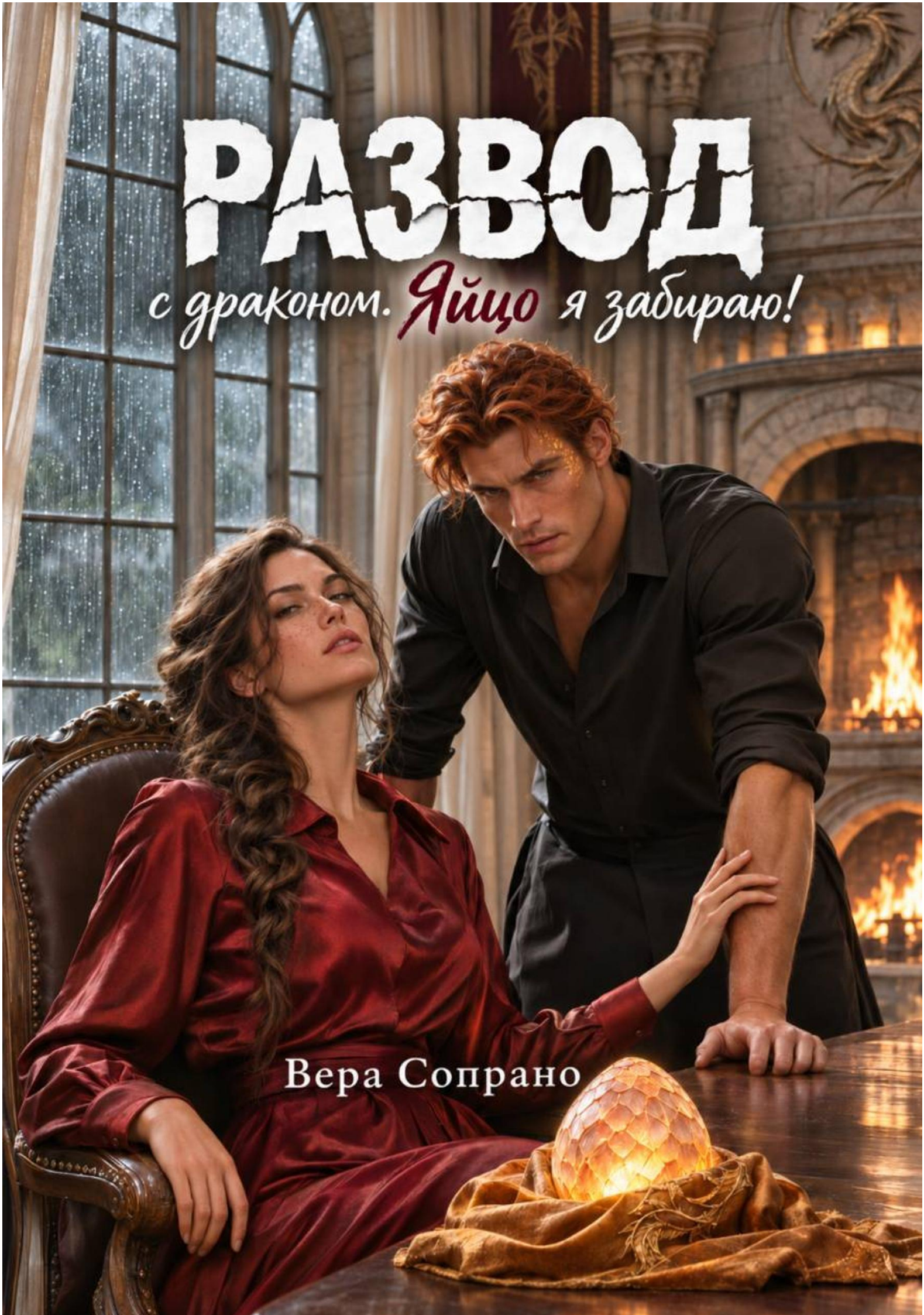
РАЗВОД
с драконом. Яйцо я забираю!
Вера Сопрано

Вера Сопрано

Развод с драконом. Яйцо я забираю!

«Автор»
2026

Сопрано В.

Развод с драконом. Яйцо я забираю! / В. Сопрано — «Автор», 2026

«Развод подпишешь на рассвете. Кладка остаётся роду». Муж произнёс это в зале клана, при старейшинах и гостях. Взяла тёплое яйцо из очага и сказала: «Яйцо я забираю!»Четыре года я была женой лорда-хранителя Кайрена Дрейвара. Одиннадцать месяцев грела нашу кладку. В годовщину Огненного Восхода он объявил, что храм нашёл ему истинную пару, юную Сельму Орвен.Метку ей нанесли за деньги, клан ради союза готов на всё. Кто ещё в этом замешан, я пока не знаю.По закону кладка принадлежит роду отца. За кражу грозит изгнание из Кальдариона. Меня уговаривают отдать яйцо и тихо уйти. Но я смотрительница королевского инкубатория и знаю: без моего тепла яйцо гаснет.Судить меня будет верховный судья родов Ренвальд Ашер. Каменный дракон, сухой педант, читает каждую статью до последней строки. Он на стороне закона, не моей.Сумею ли я выиграть дело у судьи, который меня судит, и не потерять ребёнка?

© Сопрано В., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Кладка остаётся роду 5
Глава 2. Закон в вашей подписи не нуждается 10
Глава 3. Отстранена до решения суда 14
Глава 4. Решение в пользу яйца 18
Конец ознакомительного фрагмента. 21

Вера Сопрано
Развод с драконом. Яйцо я забираю!

Глава 1. Кладка остаётся роду

– Развод подпишешь на рассвете. Кладка остаётся роду.

Кайрен сказал это ровно, не повышая голоса, как говорят о поставке дров на зиму, и в длинном зале Дрейвар-холда стало так тихо, что я услышала, как потрескивает масло на противне в моих руках. Я стояла у середины стола с подносом пирогов, которые пекла с четырёх утра, с луком, с яйцом и с вишнёвым вареньем для старейшин, потому что старейшины любят сладкое и в этом они единственные нормальные люди в клане. Шла годовщина Огненного Восхода, за столом сидели тридцать гостей, и только что, при всех, мой муж сообщил мне, что я больше не его жена.

Я почему-то первым делом подумала о пирогах. Они были горячие, румяные, один даже лопнул сбоку, и мне стало ужасно обидно за этот лопнувший пирог: я полдня вертелась с ним у печи, а его теперь никто не съест.

– Прости, я, кажется, ослышалась, – сказала я, опуская поднос на край стола между кувшином и блюдом с копчёной рыбой. – Ты сейчас про что, про сроки подписания поставок или про нас с тобой?

– Ивета, не нужно сцен. – Он поднялся, и чешуя у него на висках вспыхнула медным, как всегда, когда он злился и не хотел это показывать. – Храм подтвердил истинность. Леди Сельма Орвен моя пара, и это не обсуждается ни мной, ни тобой, ни кем-либо за этим столом.

Рядом с Бруно Орвеном, грузным, пахнущим серой, с жёлтым камнем на пальце, поднялась девушка. Я видела её раньше мельком, на каких-то переговорах: белокурая, совсем юная, в светлом платье и тонких перчатках до локтя. Она не смотрела ни на меня, ни на Кайрена, а разглядывала свои руки, и пока отец что-то довольно говорил соседу, стянула с правой руки перчатку и повернула запястье к свету. На коже горел красный огненный знак, ровный, будто его вывели тонкой кистью.

– Ох, – сказала я, и мне самой стало смешно, до чего глупо это прозвучало. – Красиво. Очень чётко. У нас в инкубатории такие метки на партию ставят, только на скорлупе.

Бруно Орвен громко хмыкнул, а кто-то из гостей закашлялся. Я оглядела старейшин: один с длинной бородой, второй в тёмной шапочке, третья, сухая, как веточка, в серой шали. Все они смотрели в тарелки. Они знали. Они все знали, и ни один за четыре года не научился врать мне так, чтобы я не заметила, как они отводят глаза.

Бруно Орвен откинулся на спинку кресла, поглаживая жёлтый камень на пальце, и заговорил с тем масляным добродушием, с каким говорят о выгодной сделке: клан наконец получит союз, который выручит его после весеннего обвала, а моя прежняя должность, он слышал, очень почётная, и мне наверняка найдут достойное место при кухне. Я слушала и ощущала, что у меня медленно краснеют уши. Меня уже распределили, как мешок муки, ещё до того, как я успела поставить на стол пироги.

– Благодарю, господин Орвен, – сказала я как можно вежливее. – Я как-нибудь сама решу, где мне работать. Я, знаете ли, восемь лет в королевском инкубатории, а не при чьей-то кухне. Но вы не волнуйтесь, ваша дочь, наверное, прекрасно печёт пироги, она вам ещё покажет.

Кольцо с гранатом сидело на пальце плотно, я носила его с мая сорок третьего и привыкла к нему, как к собственной коже. Пришлось подержать руку под струёй воды из кувшина, прежде чем оно поддалось. Никто не помешал мне, и это почему-то оказалось самым унизительным: меня оставили возиться с мылом и водой, будто я лишнюю посуду мыла, а тридцать человек

ждали, когда я закончу. Потом я положила кольцо на скатерть, прямо перед его тарелкой, и оно звякнуло о фарфор.

– Вот. А то ещё потеряется при разводе, а потом скажете, что я украла.

– Ивета.

– Нет, подожди, я хочу уточнить одну вещь, потому что я человек практичный. – Я вытерла руки о передник, который забыла снять, и услышала, что смеюсь, и слёзы текут по щекам одновременно, как будто кто-то внутри меня открыл два крана сразу. – Яйцо кто греть будет? Оно с шести утра начинает просить тепла, Кайрен, и последние одиннадцать месяцев я вставала к нему, а ты спал. Кто его теперь будет греть?

– Очаг рода, – сказал он, и в голосе мелькнуло раздражение: он ждал крика, а не вопроса по делу. – Лучшие смотрительницы клана. Кладка принадлежит роду, и это не моя прихоть, а закон. Ты знала закон, когда выходила за меня.

– Я знала закон, когда выходила за тебя, – повторила я. – Я не знала, что ты прочтёшь его так, как тебе удобно.

Он промолчал. Старейшина с бородой наконец прокашлялся, но ничего не сказал, а лишь сделал вид, что поправляет салфетку. Я взяла с подноса тот самый лопнувший пирог, откусила, и он оказался вкусным, до того вкусным, что я чуть не заплакала по-настоящему.

***

В Очажную палату я пошла, не спрашивая разрешения. Я не бежала, я шла быстро, придерживая подол, и в коридоре поняла, что в одной руке у меня до сих пор надкушенный пирог. Я сунула его в карман передника, потому что выбросить хлеб рука не поднималась, и толкнула тяжёлую дверь.

В палате было жарко, как всегда, и в этом жару я вдруг ясно вспомнила весну: когда после обвала остыли родники холда, дрова для этой ниши мы с Кайреном таскали по ночам сами, потому что платить истопникам клану стало нечем. Я тогда ещё гордилась, что мы вдвоём тянем одну лямку, и носила уголь в подоле, а теперь выходило, что тянула одна я. Мысль была злая, неправильная, но от неё почему-то становилось легче дышать. Чёрная ниша, вырубленная прямо в камне, светилась изнутри ровным золотом, и в ней, на подушке из прогретого песка, лежало наше яйцо. Оно было размером с большой кочан капусты, тёмно-красное, с тонкими золотыми прожилками, и когда я вошла, внутри толкнулся свет. Яйцо всегда чувствовало меня раньше, чем я успевала подойти: за одиннадцать месяцев оно привыкло к моим шагам, к моему голосу, к тому, как я скрипела табуреткой, садясь рядом по утрам.

– Ну здравствуй, мой хороший, – сказала я шёпотом, потому что голос вдруг сел. – Тут у нас, кажется, небольшие изменения в планах.

Я протянула руки, и оно потянулось ко мне светом, как тянется к ладоням ребёнок, который проснулся и ещё не открыл глаза. Скорлупа под пальцами была тёплой и чуть шершавой, и я подхватила его снизу, как подхватывают ребёнка, которого вот-вот уронят: крепко, бережно и с таким желанием кого-нибудь стукнуть, что самой стало страшно. На стуле у стены лежала бабушкина охристая шаль, я сама оставила её тут вчера, когда ночью сидела с яйцом и мёрзла. Я закутала кладку в шерсть двойным слоем, подоткнула края и прижала свёрток к груди.

За спиной раздались шаги. Не один человек, а несколько: тяжёлые, мерные, стража в сапогах. Я обернулась и увидела, что двое стражников встали в дверях по обе стороны, а между ними, заслонив собой коридор, стоит Кайрен.

– Верни кладку в нишу, Ивета, – сказал он тихо, и чешуя на его висках вспыхнула ярче. – Не заставляй меня звать старейшин.

– И что тогда? – я даже засмеялась, и от этого яйцо в шали вздрогнуло, и я тут же заговорила тише. – Станешь отнимать у жены при гостях? Давай, лорд-хранитель, только осторожнее, а то уронишь собственного наследника.

– Ты сама не понимаешь, что творишь.

– О-о, ещё как понимаю. Я это понимала каждое утро, пока ты спал. – Я шагнула вперёд, и стражник слева невольно отступил, потому что на их глазах женщина с кладкой на руках шла прямо на них. – Слушай меня, Кайрен, внимательно, как на родовом совете. Яйцо я забираю! А развод ты можешь подписать сам, у тебя рука твёрдая, я видела, как ты только что кольцо моё глазами пересчитывал.

Он молчал. Я видела, как у него ходят желваки, и знала это лицо: так он глядел на завалы в руднике, когда ничего нельзя было сделать. Ни один из стражников не смел тронуть женщину с кладкой в руках, потому что любой знал: толчок, неверный хват, одно падение, и погибнет наследник рода. Наконец Кайрен выдохнул сквозь зубы, и я поняла, что победила, но победа была такой же горькой, как пересоленный суп.

– Пусти её, – сказал он стражникам. – Она спустится в инкубаторий, ей больше некуда идти. К рассвету ты вернёшься, Ивета. И сама принесёшь кладку, потому что тебе не выдержать там и сутки.

– Посмотрим, – ответила я и пошла мимо него, чувствуя на затылке жар его взгляда, как от открытой печной заслонки.

***

Каменная лестница от Дрейвар-холда до Среднего яруса тянется сорок минут пешком, если идти спокойно, и дольше, если идти с яйцом, в праздничных туфлях и в слезах. Фонарей на ступенях было мало, ветер с вулкана бил в лицо серной сыростью, а я прижимала свёрток к груди и шла вниз, считая ступени, потому что надо было считать хоть что-то.

На сорок третьей ступени я поняла, что не взяла сапоги. На шестидесятой вспомнила про тёплые чулки, которые лежали в сундуке в нашей спальне, то есть уже не нашей. На восьмидесятой, когда ветер распахнул шаль и яйцо коротко потемнело от холода, я остановилась, сердито запахнула шерсть и сказала в темноту:

– Тьфу! Гребёнка, мыло, зимний плащ, второе платье, пудра бабушкина от веснушек, которой я всё равно не пользуюсь! Да как вообще можно уйти из дома без мыла!

Внизу, у первого поворота Среднего яруса, мне встретился фонарщик с длинным шестом. Он как раз гасил последний фонарь у лавки сапожника и обернулся на стук моих туфель, а увидев женщину в праздничном платье, в пятнах от пирога, с огромным свёртком в охристой шали, так и остался стоять с поднятым шестом.

– Госпожа, вам помочь? – спросил он наконец осторожно. – Вы, может, потерялись? Или вас обидели?

– Обидели, добрый человек, но это не лечится. – Я вздохнула, и мне вдруг стало смешно. – А потерялась я лет на пять раньше, просто только сегодня заметила. Вы лучше фонарь не гасите, пожалуйста, мне ещё два поворота идти.

– Да что вы, госпожа, – растерялся он. – Я и не погашу. Дойдёте до Ганны Вейс, она свою лампу на крыльце всю ночь жжёт.

Яйцо в ответ толкнулось, будто смеялось. Мне стало легче, и я пошла дальше, составляя список дальше и вслух, потому что тогда мысли о Кайрене не успевали втиснуться между пунктами. Сорок минут, говорила я себе, это всего лишь сорок минут, а потом будет тёплый пол инкубатория, ниша среди сорока других и Ганна, которая всегда знает, что делать.

Про его лицо я старалась не думать. Но оно возвращалось на каждом повороте: усталое, злое, чужое, с пустым местом там, где пять лет назад, в марте, он привёз в инкубаторий яйца младших родов клана и впервые рассмеялся над моей шуткой про неряшливых несушек. Я вспомнила, как он зимой ходил вокруг меня и молчал, как говорил про долги и обвал, как я гладила его по плечу и думала: вот, на нём клан, ему трудно, потерпи. Я терпела. Я четыре года терпела, а он тем временем подбирал себе истинную, как подбирают платье к празднику.

– Дура, – сказала я вслух, остановившись на повороте. – Вот ты дура, Ивета Ларн. Но яйцо я тебе всё равно не отдам, слышишь, Кайрен? Хоть сто раз ты мне его будешь запрещать.

***

Инкубаторий светился в ночи длинной тёплой полосой окон. Я постучала ногой, потому что руки были заняты, и дверь открылась почти сразу: Ганна, в вытертом халате, с очками на цепочке, поверх которых смотрели глаза, привыкшие к ночным вызовам. Она увидела мою шаль, потом моё лицо, потом шаль, и не сказала ни слова. Просто отступила в сторону и впустила меня.

Внутри пахло привычно: тёплым камнем, золой, мокрой шерстью и той самой огненной охрой, что стоит в банках в кладовой. Свод тянулся над сорока нишами, в каждой из которых лежало чьё-то яйцо, и от пола шло ровное тепло родника. Ганна без вопросов отвела меня к свободной нише в самом конце, наполнила её песком, нагретым у печи, и я опустила туда свёрток, сама, как укладывают спящего. Яйцо вздохнуло светом, ровно и покойно.

– Ну вот, – сказала Ганна, и голос у неё был сухой и ласковый одновременно. – Теперь ты сядь, пока не упала.

Я села на табуретку и вдруг поняла, что меня трясёт. Не от холода: просто дрожали пальцы, колени, плечи, и ничего с этим нельзя было сделать. Ганна присела рядом, протянула мне полотенце, и тогда я, впервые за этот вечер, заплакала по-настоящему: громко, некрасиво, с носом, с икотой, как не плакала с самых похорон бабушки.

– Ох, Ганна, я же ему верила, – выдавила я. – Я же столько лет… я каждый вечер думала, что вот сейчас рудник починят, и всё наладится.

– Знаю, Ивка, знаю, ничего ты не могла знать. – Ганна достала из шкафчика хлеб и ломоть сыра, разломила пополам и сунула мне в руки. – Ешь. Плакать на голодный желудок вредно, голова потом болит.

– Рассказывай, – сказала Ганна, когда я немного затихла. – Всё рассказывай, по порядку, ты же не любишь недоговорённости.

И я рассказала: про зал, про пироги, про перчатку и красную метку, про старейшин, которые разглядывали тарелки, про кольцо и про стражу в дверях. Ганна слушала, поджав губы, и на словах про Бруно Орвена, который уже подыскал мне место при кухне, так стукнула кулаком по колену, что очки слетели с носа и повисли на цепочке.

– Ох и наглец, – сказала она. – Я его отца знала, тот хоть серу честно продавал, а этот пытается купить всё сразу, и клан, и девочку, и твоё яйцо в придачу. Ты мне только скажи, Ивка: метку ты видела вблизи?

– Видела, издалека. Красная такая, ровная. – Я шмыгнула носом. – А что?

– Да так, ничего. Просто у меня глаз на красное намётан, – ответила Ганна и тут же замахала рукой, будто отгоняла мошку. – Ешь давай.

Я жевала хлеб, давилась сыром, ревела и жевала снова. Он был вчерашний, жёсткий, и такой вкусный, что я вспомнила про пирог в кармане, достала, и мы поделили его пополам, сидя на двух табуретках среди сорока ниш с чужими яйцами, как две воровки на ночёвке. Ганна ела молча, а потом протёрла очки краем халата и сказала, глядя не на меня, а в нишу:

– Ивка, ты понимаешь, что утром тебя назовут воровкой?

– Понимаю.

– Ничего ты не понимаешь. Кладка принадлежит роду отца, кто вынес без согласия хранителя, тот украл. Изгнание. Из королевства, девочка, не из дома. – Она наконец надела очки и посмотрела мне прямо в лицо. – Я не говорю, что ты должна отдать. Я говорю, чтобы ты это услышала от меня, а не от них, когда они придут с бумагами.

Я разглядывала яйцо, золотые прожилки на красной скорлупе, то, как оно слабо дышало светом в такт моему дыханию. Страх был, настоящий, холодный, но поверх него лежало что-то упрямое и тёплое.

– Пусть называют, – сказала я. – Я одиннадцать месяцев его грела. Это не воровство, Ганна. Это работа.

– Это работа, – согласилась она и погладила меня по косе, как гладила, когда мне было девятнадцать и я только пришла в инкубаторий. – Только законы пишут не те, кто работает. Ложись. Я принесу одеяло и грелку.

Она вернулась быстро, с двумя одеялами и кирпичом, нагретым у печи, обернула кирпич тряпкой и сунула мне под ноги. Я сидела, как кукла, и позволяла себя укрывать, и только когда Ганна подоткнула одеяло под бок, как делала это в мой первый год, у меня опять защипало в носу.

– Ты спи, – сказала она. – Я у ниши посижу, пока не разойдутся последние гости. Мало ли.

– Ганна, а если они придут ночью?

– Ночью они не придут: ночью у драконов приличные дела, ужин и переваривание. Придут утром, с бумагами и с лицом, будто им самим неудобно, – хмыкнула она. – Давай, закрывай глаза, а то я начну рассказывать, как мой муж ушёл от меня к аптекарше, и ты не уснёшь до зари.

Я засмеялась в подушку, и она тоже, и это был первый настоящий смех за весь страшный день.

Я легла на узкую койку у стены, так, чтобы нишу было видно, не поднимая головы. В платье, в праздничных туфлях, с соломой в косе, потому что солома нашлась в моих волосах ещё на лестнице. Яйцо светилось, ровно и тихо. Я слушала, как в камне журчит родник, и под это журчание наконец провалилась в сон, как в тёплую воду.

На рассвете в дверь постучали не муж и не стража, а высокий человек в сером, и на его перчатке темнела печать суда родов.

Глава 2. Закон в вашей подписи не нуждается

Я открыла дверь в мятом праздничном платье, с соломой в косе и с таким лицом, будто всю ночь спорила с печкой и проиграла. На пороге стоял высокий мужчина в сером плаще, с тёмными волосами и седой прядью надо лбом, и за его плечом топталась невысокая женщина с короткой стрижкой и пухлой папкой под мышкой. Утренний пар от родника лёг на камни, и в этом пару его фигура казалась вырубленной из того же камня, что и порог.

Он молча стянул перчатку с печатью, положил голую ладонь на холодный косяк и подержал её там, словно прислушивался к стене, а не ко мне. Только потом поднял глаза. Они были серые, внимательные и до того спокойные, что мне захотелось швырнуть в него табуреткой.

– Госпожа Дрейвар, если не ошибаюсь, – сказал он негромко. – Меня зовут Ренвальд Ашер, я верховный судья родов. Рядом со мной мой секретарь, госпожа Ласс. Нас привело сюда заявление клана Дрейвар, поданное сегодня ночью: в нём утверждается, что вы вынесли из Очажной палаты холда кладку, принадлежащую роду, без согласия лорда-хранителя. Позвольте войти, потому что такие вещи я предпочитаю обсуждать не на сквозняке.

– Ох, – сказала я. – Судья. Ну конечно, как же иначе, у нас же всё по закону.

– Хм, – добавила женщина с папкой, и по её ехидной улыбке я поняла, что эта парочка видала посетителей и поинтереснее меня.

Я отступила. Они вошли, и Ганна, выбежавшая из своей комнаты в том самом халате, замерла на полпути со стаканом воды в руке. В длинном своде между нишами стало тесно от серого плаща, от запаха мокрой шерсти и от чужого, очень ровного дыхания: судья вошёл так, будто мерил шагами зал и заранее знал, сколько их понадобится до стены.

Мартина Ласс устроилась на краю стола, развернула папку и достала перо. Ренвальд Ашер достал очки для чтения в узкой оправе, неторопливо надел их и вынул из внутреннего кармана маленькую записную книжку в потёртой коже. Я подумала, что ему, наверное, лет сорок, а на висках у него серебрится не седина, а что-то вроде тонкой серой чешуи, которая уходила под воротник.

– Прежде чем мы продолжим, я зачитаю вам положение закона полностью, – произнёс он. – Это не формальность, а ваше право: человек, которому предъявляют обвинение, должен слышать его слово в слово, а не в пересказе обиженной стороны. «Вынос кладки из очага рода без согласия хранителя рода, лица, обладающего властью над очагом, признаётся кражей и влечёт изгнание из королевства Кальдарион, если иное не установлено…»

– Подождите, – перебила я. – Вы хотите сказать, что я украла своё собственное яйцо?

– Я хочу сказать, что мы читаем закон до конца, а вы перебили меня на запятой. Если позволите, я вернусь к началу абзаца. – Он не повысил голоса, не поморщился, просто опустил взгляд в бумагу и начал снова, с тех же слов: «Вынос кладки из очага рода без согласия хранителя…»

– Но оно моё! Я его носила в себе три месяца, потом одиннадцать месяцев грела, вставала в шесть, ела по ночам холодную кашу…

– «…Лица, обладающего властью над очагом, признаётся кражей, – не меняя тона, продолжил он, – и влечёт изгнание из королевства, если иное не установлено сводом о тепле…» Прошу прощения, госпожа Дрейвар, но последнюю часть я зачитываю целиком, потому что она может иметь значение в будущем. Кладка по закону принадлежит роду отца. Ваше участие в её выращивании закон признаёт, но не считает основанием для владения.

Я стояла посреди инкубатория, и меня, кажется, шатало. Ганна подошла сзади и положила руку мне на плечо.

– Вот так просто, – сказала я. – Четыре года жена, а потом по закону никто. А можно хоть узнать, когда меня выгонят из мужниного дома? Я, видите ли, уже сама ушла.

– Развод будет зарегистрирован судом родов в течение десяти дней, – ответил Ренвальд. – При подтверждённой храмом истинности подпись жены не требуется: согласие супруги на расторжение брака не входит в число обязательных условий, и закон этого не скрывает. Ваша подпись, леди Дрейвар, ускорила бы дело, но закон в ней, к сожалению для вашей гордости, не нуждается.

– Не нуждается! – Голос у меня сорвался в крик, и в соседних нишах тихо вздрогнули чужие яйца. – Нет, вы послушайте, ему не нужна моя подпись, ему не нужно моё согласие, ему и меня не нужно, а ребёнка моего он забирает для нужд очага?! Я воровка, потому что не оставила его в камне, как вещь?!

– Тихо вы оба! – зашипела Ганна. Она подскочила между нами, махнув стаканом, и вода выплеснулась на пол. – Тут сорок яиц, они ссор не любят! Хотите орать, идите на улицу, а здесь у меня живые тепло и покой, а не ваш суд!

Судья посмотрел на пролитую воду, потом на Ганну, и вдруг, к моему изумлению, кивнул ей так, как кивают старшему по званию.

– Вы совершенно правы, госпожа Вейс. Простите нас: ни я, ни она не должны были так повышать голос в помещении, где находятся кладки. Госпожа Ласс, отметьте, что допрос приостановлен на время, нужное госпоже Дрейвар, чтобы взять себя в руки.

– Отметила, – сухо сказала Мартина. – И то, что она не воровка по повадкам, а скорее разбойница. Хм.

Я хотела ответить, но в горле стояло слишком много слов, и все они были неприличными. Я схватила со стола кружку, глотнула остывшего отвара, поперхнулась, закашлялась, и Ганна стукнула меня по спине.

Ренвальд Ашер терпеливо подождал, пока я откашляюсь, и заговорил снова, обращаясь теперь не ко мне, а к Мартине, но так, чтобы слышала и я. Заявление, по его словам, поступило в три часа ночи, под ним стояли подписи лорда-хранителя и двух старейшин, и в нём требовалось незамедлительное возвращение кладки в очаг. Он, однако, полагал, что срочность не отменяет необходимости осмотреть яйцо лично, потому что бумага, написанная в гневе, редко совпадает с тем, что на самом деле лежит в нише.

– Вы говорите «в гневе», – заметила я, всё ещё хрипя. – А мне казалось, что судьи не гневаются и не жалеют, а только зачитывают.

– Судьи гневаются и жалеют не меньше других, госпожа Дрейвар, – ответил он. – Разница в том, что им нельзя класть это на весы. Я прошу вас помнить об этом, когда будете сердиться на меня за то, что я не поддерживаю вашу сторону: я не поддерживаю ни одну из сторон, и это, поверьте, довольно утомительное занятие.

***

Яйцо он осмотрел сам. Попросил разрешения, и это тоже меня удивило: я ожидала, что он просто отодвинет нас и шагнёт к нише. Вместо этого он снял вторую перчатку, обошёл меня стороной и остановился над золотым свечением.

– Каменные драконы чувствуют тепло ладонью, – сказал он негромко, обращаясь не то ко мне, не то к себе. – Это не магия, скорее профессиональная неудобная особенность. Позвольте.

Он положил ладонь на скорлупу. Яйцо дрогнуло и ответило мягким светом, а Ренвальд Ашер замер так, будто слушал, как бьётся чужое сердце. Он стоял минуты три, не меньше. Я хотела спросить, что он там слышит, но Ганна сжала мой локоть, и я промолчала. Потом он достал записную книжку и написал в ней что-то мелким аккуратным почерком, и я краем глаза увидела, что в начале строки стоит время: «Семь часов сорок одна минута».

– Скорлупа тёплая, внутри ровный ритм, – проговорил он, не отрываясь от записи. – При этом тепло, которое я ощущаю, не рода, а одного человека. Оно привязано к вам, госпожа Дрейвар, и привязано сильно. Это не довод в вашу пользу, прошу вас понять правильно, это просто наблюдение, которое я обязан зафиксировать.

– А что в нём правильного? – спросила я. – Что вы это фиксируете, а потом всё равно отдадите мужу?

– Я пока ничего не отдаю, – ответил он. – Закон говорит, что в последний месяц перед вылуплением кладку не носят без крайней нужды, потому что любая перевозка рискует жизнью яйца. Нужды я не вижу. Поэтому решение таково: до слушания яйцо остаётся в инкубатории, в этой нише, под печатью суда родов. Вы, как лицо, которое греет его последние одиннадцать месяцев, вправе находиться рядом и поддерживать тепло. Госпожа Вейс будет присутствовать при каждом вашем визите.

Мартина, не глядя, достала из папки круглую красную печать и подала ему. Он наложил её на край ниши: воск на камне зашипел, потемнел и застыл, образовав тонкую корку с узором. Ганна вытерла руки о фартук и пробормотала что-то вроде «слава всем огням».

– Обвинение при этом остаётся в силе, – добавил он, убирая очки в футляр. – Я говорю это, чтобы у вас не возникло иллюзий. Слушание будет назначено, о дате вас известят. До тех пор вы остаётесь под подозрением, а ваш муж, точнее, лорд-хранитель, сохраняет право требовать возвращения кладки по закону.

– Гхм, – сказала я и сама удивилась, как похоже получилось. – А в моём мнении закон нуждается? Нет? Удобный у вас закон, господин судья.

– Он не мой, – спокойно сказал Ренвальд. – Он существовал задолго до меня, и я его не люблю в половине случаев, но я не вправе читать его выборочно. Если вам станет легче, я скажу прямо: я пришёл сюда не защищать вас и не обвинять, а убедиться, что яйцо живо, а сторона, которая его греет, не сбежала с ним за границу. Вторую часть я вижу собственными глазами.

– Какая прелесть, – сказала я. – Спасибо, что не сбежала.

В уголке его рта на мгновение появилась тень чего-то вроде улыбки, но тут же исчезла. Мартина Ласс издала звук, подозрительно похожий на фырканье.

– Госпожа Ласс, – негромко произнёс судья, не оборачиваясь, – ваше веселье вносить в протокол необязательно.

– Я и не собиралась, господин судья, – безмятежно отозвалась она. – Я записываю только то, что имеет юридическое значение. А у неё, между прочим, голос как раз на нужной высоте для обвинительной речи. Хм.

***

Когда серый плащ скрылся за воротами, Ганна обессиленно опустилась на табурет и долго молчала, потом вытерла лоб рукавом и сказала, что судью Ашера знает давно, и человек он, к её огорчению, достойный.

– Каменный он весь, Ивка, – вздохнула она. – Не по чешуе, по характеру. Говорят, он шесть лет назад отказался принять подарок от клана, который спорил за пастбища, и вернул его с запиской на три страницы, где объяснял, почему не может. Взяток не берёт, поблажек не даёт и читает каждую бумагу до последней точки. С одной стороны, хорошо: он тебя не съест. С другой, он и не пожалеет.

– А если я ему объясню, что яйцо без меня остывает? – спросила я. – Он же сам почувствовал.

– Объяснить можно, а вот доказать надо. Судье мало, что ты сказала и что он почувствовал, ему подавай запись и свидетелей. Поэтому нам с тобой понадобятся не слова, а бумаги, – Ганна встала, отряхнула халат. – Начинай записывать, пока помнишь: что, когда, сколько тепла, как оно отвечает.

У меня и записи-то были, одиннадцать месяцев, тетрадь я вела каждое утро, но тетрадь осталась в холде, на полке в спальне, и мысль о ней кольнула сильнее всякой обиды.

***

Кайрен явился ближе к полудню. Я как раз сидела над нишей, меняя подстилку из горячего песка и пытаясь вспомнить, когда ела в последний раз, и услышала сначала голоса на

дворе, а потом тяжёлые шаги в коридоре. Он вошёл не один: за ним шли двое старейшин, бородатый и тот, в тёмной шапочке, а позади, как тень, двое стражников с кожаными ремнями.

– Ивета, – сказал он, останавливаясь в десяти шагах. – Ты не пришла на рассвете.

– А ты не пришёл на нашу свадьбу вовремя, а я ведь ничего не сказала. – Я выпрямилась и стряхнула песок с колен. – Что тебе нужно, Кайрен?

– Кладку, – ответил за него бородатый старейшина, и голос у него был скрипучий. – Лорд-хранитель подал заявление, и мы пришли исполнить закон. Вы, госпожа Ларн…

– Дрейвар, пока вы не подписали бумаги, – поправила я.

– …вы не имеете права удерживать собственность клана. Стража, возьмите яйцо.

Два стражника шагнули вперёд, но остановились на втором шаге. Один из них уставился на печать, потом на воск, потом на своего командира. Бородатый старейшина дёрнул плечом и тоже замер: на краю ниши, поблёскивая красным, темнела сургучная корка с гербом суда родов. Я видела, как у него на лице играет досада, смешанная с недовольным уважением, какое всегда вызывают чужие печати.

– Это печать суда, – проговорил он. – Кто её наложил?

– Верховный судья Ашер, сегодня, в семь сорок пять, – сказала Ганна от дверей. Она вошла с подносом, поставила его на столик так аккуратно, будто в нём лежал взрывной порошок, и вытерла руки. – До слушания никто, кроме суда, печати не трогает. Хотите сорвать, вызывайте судью обратно и объясняйте ему сами.

– Ганна, – начал Кайрен.

– Не «Ганна». Лорд-хранитель, пока лежит печать, ты в моём инкубатории гость, а не хозяин.

Бородатый старейшина обернулся к Кайрену и негромко, но так, чтобы все слышали, заметил, что клану не пристало препираться с женщиной в присутствии судебных посланников. Второй, в тёмной шапочке, добавил, что сорвать печать суда равносильно оскорблению верховного судьи, а этого клан себе позволить не может, особенно сейчас, когда на кону союз с домом Орвен. Я слушала и мысленно считала, сколько раз за эти полминуты они назвали меня «женщиной» и ни разу по имени. Выходило шесть.

Кайрен выдохнул, и чешуя на его висках погасла. Он кивнул старейшинам, и те, переглянувшись, отступили к двери, оставляя нас вдвоём, в десяти шагах, над золотой нишей. Я скрестила руки на груди, чтобы не было видно, как они дрожат.

– Я не хотел, чтобы всё вышло так, – сказал он тихо, и этот усталый голос был мне знаком до последней нотки: так он разговаривал по вечерам, когда приходил с совета. – Ты же понимаешь, что при гостях я не мог иначе. Пойдём домой, Ивета. Подпишешь бумаги, я оставлю тебе комнату в холде, пока всё не уляжется, ты будешь рядом с кладкой. Ради порядка. Ради клана.

– Ради порядка, – повторила я. – А-а. Тот самый порядок, при котором меня в вашей палате называли «смотрительницей из города» у меня за спиной?

– Ты преувеличиваешь.

– Нет, Кайрен. До вчерашнего вечера я ни слова не слышала про Сельму, а сегодня утром судья мне вслух зачитывал закон про кражу. Я не вернусь в холд, потому что в холде для меня нет ни порядка, ни тепла, ни одного человека, который сказал бы мне правду до праздника. – Я подняла глаза и сама поразилась, как ровно звучит голос. – А комнату оставь Сельме. Ей понадобится.

Что-то в его лице дрогнуло, и мне на секунду показалось, что он сейчас скажет что-то настоящее. Но он только повернулся, расправил плечи, как расправляют их перед приказом, и пошёл к выходу, и стражники последовали за ним.

– Ты всегда была упрямой, Ивета, – сказал Кайрен уже от двери. – Это не делает тебя правой.

Глава 3. Отстранена до решения суда

К вечеру субботы я нашла себе занятие, которое не позволяло думать: взяла в кладовой банку огневой охры, надела кожаные нарукавники и принялась метить новую партию яиц. Привезли их днём от младших родов, двенадцать штук, серо-жёлтых, холодных, как булыжники, и Ганна сказала, что до утра они должны получить метки с названием рода и датой. Охру разводят на масле до густоты сметаны, окунают палец и ставят знак на скорлупе: красно-рыжий, жирный, не смывается ничем, кроме кислой горячей воды, потому что метка должна пережить и ссору родов, и лишнюю мойку.

Я мазала, дышала запахом серы и золы, и руки у меня к запястьям стали рыжими, как у лисицы, которая вылезла из банки с вареньем. На левом запястье поверх старого ожога легла широкая красная полоса, и я рассеянно подумала, что надо бы потом оттереть, и тут же забыла. Наше яйцо лежало в соседней нише под печатью суда и тихо светилось. Время от времени я бросала на него взгляд, как бросают на чайник, который вот-вот закипит: всё ли в порядке.

– Ивка, – сказала Ганна, входя в зал так тихо, что я вздрогнула. – Положи кисточку. Тебе письмо.

– От кого? От мужа? Скажи, что я занята, у меня тут двенадцать булыжников, которые желают, чтобы их любили.

– Нет. – Она протянула конверт двумя пальцами, как протягивают дохлую мышь. – От королевского смотрителя. С печатью.

Я вытерла пальцы о тряпку, оставив на ней красные полосы, и взяла плотный конверт с золотым оттиском. Бумага хрустнула, и первые строчки я прочла так быстро, что слова не сложились в смысл, и пришлось читать второй раз, медленнее, как читают рецепт, где перепутаны порции. «В связи с предъявленным обвинением в краже кладки… до решения суда родов… смотрительница Ивета Ларн отстраняется от должности… клан Дрейвар, как основной плательщик взносов, уведомил о намерении забрать свои пожертвования…» Дальше стояло про жалованье, которое приостанавливается, и про помещение при инкубатории: ночевать ей отныне запрещено.

– Ох, – сказала я наконец. – Тьфу! Нет, вы только посмотрите: восемь лет, ни одного сгоревшего яйца, ни одной потерянной партии, ни одной жалобы, а за одну ночь у них вдруг выросло «в связи с обвинением». Хоть бы кто спросил, а я ли это вообще.

– Не спросят, – сказала Ганна и села на табуретку напротив. – Ты же знаешь, как оно: кто платит, тот и спрашивает. Клан Дрейвар даёт третью часть взносов, смотритель без них крышу не залатает.

– А яйцо? Моё яйцо кто будет греть ночью? Они же его без меня… – Я осеклась. Пальцы сами сжали письмо, и охра оставила на бумаге бурые отпечатки. – Ганна, мне нельзя тут ночевать, а печать суда не позволяет мне его забрать. Выходит, оно будет стоять тут одно?

– Не одно. – Она сказала это твёрдо, как говорила в первый год, когда я роняла скорлупки. – Я принесу свою грелку, ту, чугунную, мы её под нишу поставим, в ногах. Каждые два часа я буду подкладывать угли и проверять. Днём ты приходишь и греешь сама: ни один смотритель тебе этого запретить не может, ты по печати имеешь право находиться рядом. Ночью дежурю я.

– Ты же не спишь по ночам, у тебя спина.

– Спина у меня как-нибудь переживёт, а ты переживёшь, если оно потемнеет? – Ганна вдруг погладила меня по тыльной стороне руки, по красной, как у мясника. – Иди, собирай вещи. И лишнего не бери, а то потом всё тащить.

Вещей у меня оказалось на одну сумку: сменная сорочка, чулки, гребёнка, кусок мыла, которого на лестнице вчера так не хватало, зимний плащ и несчастные девять крон, лежавшие в комнате смотрительницы в жестяной банке из-под чая. Остальные тридцать семь, из сорока

шести сбережений, спрятаны были у меня в поясе платья. Я пересчитала всё дважды и села на койку. Койка была узкая, жёсткая, и я вдруг подумала, что восемь лет прожила рядом с этими нишами, а теперь у меня нет ни одной причины сюда вернуться. Только одна: яйцо.

– Ивка, – позвала Ганна из дверей. – Идём. Я тебя до Нижних родников провожу.

– Не надо, ты же дежурная.

– Надо.

Мы шли вниз молча, и только у поворота к рынку Ганна вдруг остановилась, сунула мне в карман свёрток и сказала, что там пирожки с капустой, и чтобы я не вздумала экономить на еде, потому что от голодной смотрительницы пользы меньше, чем от печки без дров. Я хотела возразить, но она уже развернулась и пошла обратно, быстро, чуть сутулясь, и я глядела ей вслед, пока её платок не растворился в вечернем пару.

***

Утром, в воскресенье, Нижние родники встретили меня паром, запахом сырой шерсти и ослиным ревом. Я вышла к ним по узкой дороге вниз по склону: дома здесь стояли тесно, в окнах сушилось бельё, а между домов дымили, как котлы, открытые горячие источники, над которыми крутились облака пара. Ночью я не спала, потому что вернулась в инкубаторий проверить яйцо, потом ещё раз проверила, потом Ганна выставила меня за дверь, и я долго стояла под окнами, слушая, как в каменном зале ровно гудит тепло.

Купальня «Тёплый камень» нашлась по вывеске: деревянная доска над дверью, на ней три волны и нарисованный чайник, из которого что-то хлещет. Во дворе я чуть не споткнулась о тазы, развешанные на заборе, и тут же услышала громовой голос:

– Милая, ты снимать, что ли? Заходи, не стой на сквозняке, у меня тут простудиться проще, чем заплатить за воду!

Хозяйка оказалась женщиной широкой, как две Ганны, в засученных рукавах и с красными, мощными руками, которыми она одновременно выжимала простыню и отгоняла серого ослика. Ослик, не обращая внимания на отгонявшие жесты, подошёл ко мне вплотную, вытянул морду и деловито принялся жевать край моей юбки.

– Пончик! – рявкнула хозяйка. – Брысь, паразит! Ой, милая, ты прости, он у нас по тканям специалист. Вон, у прошлой жилицы половину подола съел, пока она с лестницы спускалась.

– Ничего, – сказала я, вытягивая юбку из ослиных зубов. Вышло с треском, и край остался у Пончика, а я осталась с бахромой. – Ну-у, зато теперь по моде. Вы Тильда Брам? Мне сказали, у вас сдаётся комната.

– Тильда, Тильда, сразу на «ты», чего церемонии разводить. Комната есть, над вторым бассейном, окно на пар, пол тёплый от родника, три кроны в месяц. – Она оглядела меня с ног до головы, быстро и цепко, как оглядывают лошадь. – Сумка одна, лицо красное, руки рыжие. Беглая?

– Не совсем. Отстранённая. Мужа на днях… то есть он меня, в общем…

– Деньги вперёд, милая, а слёзы потом, у меня бассейны и так солёные, – сказала Тильда, но так мягко, что я не обиделась. Она вытерла ладони о передник. – Не обижайся. Я вдова, мне верить на слово разучили лет десять назад. Дашь три кроны, живи сколько хочешь, дрова за мой счёт, пар даром, а вот если надо будет поплакать, то у меня в чулане есть мешок с мукой, на него хорошо ложиться лицом.

Я достала из пояса три кроны, и они легли ей в ладонь с мягким звоном. Тильда проверила каждую на зуб, потом улыбнулась, и лицо у неё стало как свежий хлеб.

– Пошли, покажу. Только ступени мокрые, держись за поручень.

На лестнице Тильда успела рассказать мне всё сразу: что купальня открыта с шести утра до десяти вечера, что в первом бассейне моются женщины, во втором мужчины, а в третьем «все, кому жарко и кто не боится слухов», что ослик Пончик умеет открывать калитку мордой,

и поэтому замок надо запирать не на щеколду, а на верёвку с узлом. Я кивала, пытаясь всё это запомнить, и вдруг поняла, что впервые за двое суток кто-то говорит со мной просто о делах, без жалости и без осуждения.

– Ой, а ты откуда вообще, милая? Не из нашего квартала, лицо у тебя какое-то умное.

– Из инкубатория. Была смотрительницей, – сказала я. – Ну-у, пока была.

Комната и впрямь была одна, с узкой кроватью, столом, табуретом и окном, за которым клубился белый пар, так что казалось, будто живёшь внутри чайника. Пол под ногами тёплый, ровный, пахло мылом и лавандой. Я села на кровать, поставила рядом сумку и вдруг рассмеялась: то ли оттого, что позавчера у меня был праздничный стол и тридцать гостей, а сегодня я сижу над бассейном в юбке, обгрызенной ослом, то ли от облегчения, что здесь пахнет лавандой, а не камнем и серой.

***

Ходатай нужен был срочно. Я обошла за полдня семь контор на Среднем ярусе, и в каждой повторялось одно и то же: сначала меня встречали вежливо, потом слышали фамилию, а потом вспоминали, что у них срочные дела. «Против клана Дрейвар? Нет-нет, помилуйте, у нас и так заказы». «Госпожа, вы понимаете, что за такое дело нас вычеркнут из реестра». «Вам лучше уладить это миром, вот вам совет бесплатно». Я кивала, благодарила, выходила и сердито пинала камешек на мостовой.

В седьмой конторе пожилой господин с пером за ухом прямо так и сказал:

– Госпожа Ларн, я скажу вам откровенно, как человек, любящий молодость: найдите кого-нибудь, кто ещё не знает, чем это пахнет. Любой, кто знает, откажется.

– А кто не знает?

– Ну… – Он развёл руками и неопределённо махнул в сторону улицы. – Ищите тех, у кого вывеска ещё не облупилась.

Вывеска у Ферна Талли облупилась так, что нельзя было прочесть ни одной буквы, но название я нашла в справочнике на стене: «Ходатай по делам родов, второй этаж, над лавкой писчих товаров». Лестница в лавку была узкая и тёмная, пахла чернилами и мышами, а на втором этаже я нашла каморку размером с чулан, где за столом, заваленным бумагами, сидел худой молодой человек с пальцами, чёрными по самые костяшки. Он вскочил, опрокинул чернильницу, подхватил её на лету, залил себе рукав и густо покраснел.

– Г-госпожа… я… о, п-простите, я только что… Вы к-клиентка?

– Если вы Ферн Талли, то да, – сказала я. – Ивета Ларн. Меня обвиняют в краже кладки, и мне нужен тот, кто согласится вести дело против клана Дрейвар.

Он замер, потом осторожно поставил чернильницу, вытер руку о штаны и сел. Я видела, как у него в голове складывается всё это: клан, суд, кража, изгнание. Он начал чесать запястье, потом шею, потом снова запястье, и я поняла, что он делает это не от грязи, а оттого, что волнуется.

– Я… я ещё н-ни разу не выигрывал у клана, – выговорил он наконец. – Но я и не проигрывал, понимаете, у меня просто не было дел. Это п-первое. В суде родов… я там был только слушателем, п-два раза. Вы… вы уверены, что вам нужен именно я?

– Господин Талли, – сказала я, – я обошла семь контор. Шесть отказали вежливо, седьмой посоветовал искать кого-нибудь неопытного. Так что я уверена в одном: вы единственный, кто ещё не знает, чем это пахнет.

Ферн вдруг улыбнулся, смущённо и широко, и мне сразу стало теплее. Он выдвинул ящик, достал чистый лист, потом ещё один, и стал что-то быстро записывать.

– Мой г-гонорар пятнадцать крон вперёд, – сказал он, не поднимая глаз, и стал краснеть ещё сильнее. – И ещё тридцать п-после победы. Но если вам это д-дорого, я могу…

– Нет-нет, – остановила я и повторила твёрже: – Пятнадцать вперёд. – Ох, господин Талли, вы не представляете, как мне нужно, чтобы вы сказали «да».

Я отсчитала пятнадцать крон. Они были тяжёлыми, и в кармане стало легче и пусто одновременно: у меня осталось двадцать восемь, если вычесть Тильду. Ферн убрал деньги в ящик так бережно, словно они могли испариться, и, наконец, спросил:

– Расскажите мне всё с самого начала, п-пожалуйста. С того момента, когда вы п-познакомились с лордом Дрейваром.

Я рассказывала часа два, а Ферн время от времени останавливал меня и переспрашивал, и вопросы у него были такие неожиданные, что я сбивалась. Он спрашивал, в какое время суток яйцо теплее, что оно делает, когда я пою, и правда ли, что рядом со мной оно светится ярче, чем рядом с другими людьми. Я отвечала, и мне самой становилось любопытно: оказалось, я столько всего знаю о нём, что хватило бы на целую книгу. Про то, что по утрам оно просыпается раньше меня, про то, что к холодным рукам оно тянется с ворчанием, как кот, про то, что на мужнины шаги оно не отзывалось никогда, а ведь я сначала думала, что это оттого, что Кайрен приходит поздно. Он слушал, не перебивая, и на словах про яйцо, про то, как оно остывало без меня и теплело в моих руках, чесал себе запястье и кивал, а потом вдруг сказал, глядя в записи:

– Госпожа Ларн, тут ч-что-то есть. Я пока не знаю, что именно, н-но тут что-то есть. Старые своды… я вспомню. Д-дайте мне пару дней.

***

Днём я всё же сходила в инкубаторий. Ганна впустила меня с чёрного хода, как контрабандистку, и я два часа просидела над нишей, прижав ладони к скорлупе. Яйцо светилось ровно, охотно, ласково, под пальцами пульсировал тёплый ритм, и мне казалось, что оно спрашивает: «Где ты была?» Я рассказала ему про Пончика, про Тильду, про Ферна, который заикается и чешется. Я даже спела ему песенку, которую пела мне бабушка, про лису и горшок со сливками, потому что слов получше у меня не нашлось.

– Всё хорошо, – сказала Ганна, заглянув ко мне в конце второго часа. – Скорлупа тёплая, цвет ровный. Иди отдыхай, ты сегодня и так без обеда.

Я вернулась в купальню вечером, съела суп, который сунула мне Тильда, и свалилась на кровать, кое-как скинув платье. Через стену слышалось, как внизу плещет вода, как фыркает Пончик, и мне казалось, что я качаюсь на мягких волнах. Я уснула мгновенно.

Проснулась я от грохота: кто-то барабанил в дверь внизу, так, что содрогалась вся лестница. Тильда ругалась, я слышала её голос, потом топот на ступенях, и в комнату влетел мальчишка лет десяти, в одной рубашке, с босыми ногами, красный и мокрый от бега. Я узнала его: он иногда приносил Ганне молоко.

– Тётя Ганна велела бежать, – выдохнул мальчишка. – Яйцо темнеет.

Глава 4. Решение в пользу яйца

Я бежала вверх по ступеням в одной шали поверх сорочки, с фонарём, который Тильда сунула мне на бегу, и мне казалось, что лестница растёт вместе со мной. Пар стелился над Нижними родниками, ночной воздух резал лицо, а фонарь раскачивался в руке, выбрасывая жёлтые пятна на мокрые камни. Туфли я нашла у порога и на бегу перепутала левую с правой, и об этом мне пришлось вспомнить, когда у самой развилки я чуть не растянулась и выругалась так, что стражник у холда позавидовал бы.

– Ну пожалуйста, – бормотала я, перепрыгивая через две ступени. – Ну давай, не вздумай, слышишь, не смей, я уже иду, ты только держись…

Двадцать минут от купальни до инкубатория я никогда в жизни не пробегала быстрее, и не думаю, что мне когда-нибудь удастся это повторить. Ворота были открыты. Из окон лился неровный красноватый свет, и мне сразу стало ясно, что там что-то не так: свет у ниш всегда ровный, золотой, а тут он метался, как огонь в плохо закрытой печи.

Ганна стояла у ниши в халате, с грелкой, прижатой к груди, и лицо у неё было такое, какого я не видела за все восемь лет: серое, мокрое от слёз, с растрёпанными седыми волосами. Она даже не обернулась.

– Я каждый час проверяла, Ивка, – сказала она, и голос у неё сломался. – Каждый час, клянусь. В два было тепло. В три чуть холодновато, я подложила угли. В четыре я проверила, а оно уже серое…

Я подошла и посмотрела. Скорлупа, всегда красная с золотом, стала мутной, будто на неё надышали холодом. Прожилки едва тлели, и в ледяной сердцевине не было того ровного толчка, который я привыкла чувствовать пальцами. Сургучная печать суда, темневшая на краю ниши, ничему не помогла.

– Дай, – сказала я. – Дай сюда.

– Ивка, печать…

– К чёрту печать! – закричала я так, что в соседних нишах вздрогнули чужие яйца. – Оно умирает, Ганна, ты не видишь?! Дай!

Я сорвала печать пальцем, и воск раскрошился. Подхватила яйцо обеими руками: оно было холодным, как речной камень, и от этого холода у меня свело ладони. Я прижала его к себе, под шаль, к груди, к сердцу, и стала дышать на него, как дышат на замёрзшего птенца. Ганна, плача, накинула сверху одеяло.

– Это я, дура старая, – бормотала она, перекладывая грелку из руки в руку. – Угли подложила в три, а тепло от них пошло не вверх, а вбок, я же знаю этот камень, и всё равно положила. Ивка, ты прости меня, я хотела как лучше. Я ведь им всем говорила, что оно без тебя не может, а они поставили печать и даже слушать не стали.

– Ты ни в чём не виновата, – сказала я сквозь зубы, не отрывая глаз от скорлупы. – Ты сделала всё, что могла. Это не твоя ошибка, а их закон: он не знает, что яйцо слушает того, кто его греет, а не того, кто его записал на себя.

Я не знаю, сколько мы так стояли. Мне казалось, вечность. Я шептала ему все слова, какие знала: про лису и сливки, про Тильду, про Пончика, который ест подолы, про то, что я здесь, я рядом, я никуда не уйду. Руки болели, затекла спина, и в какой-то момент я перестала понимать, плачу я или это пар капает с волос. А потом, через полчаса, а может, и позже, я почувствовала толчок. Слабый, вопросительный, как стук в стену в соседней комнате. Потом ещё один. И сквозь одеяло, сквозь шаль, сквозь мои пальцы, золотое сияние медленно, нехотя, пошло по скорлупе, как разливается рассвет по склону.

– Вот, – выдохнула я. – Вот так, мой хороший. Вот и умница.

Ганна опустилась на табурет и закрыла лицо руками.

***

Они пришли под утро, и не по вызову суда, как я решила сначала, а потому что Ганна ещё ночью отправила мальчишку с запиской к Мартине Ласс. Я услышала шаги за спиной и обернулась. В дверях стояли двое: секретарь с неизменной папкой, в плаще, наброшенном поверх ночной сорочки и с растрёпанной стрижкой, и высокий человек в сером, сонный, но застёгнутый на все пуговицы до подбородка. Седая прядь у него разошлась на лбу, и от этого он казался моложе, но взгляд был таким же ровным, как днём.

Судья подошёл к нише, вынул из кармана очки, надел, сощурился и положил ладонь на яйцо, которое я не выпускала из рук. Он стоял неподвижно, пока Мартина молча чиркала что-то в бумагах, и я видела, как у него на шее, под воротом, на мгновение шевельнулась серая чешуя.

– Тепло вернулось, – произнёс Ренвальд Ашер. – Полностью, насколько я могу судить. Ритм ровный, привязка к вам восстановлена. – Он достал записную книжку, раскрыл её и стал писать, не меняя выражения лица. – Госпожа Ласс, зафиксируйте: яйцо начало темнеть между тремя и четырьмя часами ночи, при отсутствии матери. К пяти часам, в присутствии госпожи Дрейвар, возвращено к нормальному состоянию. Время остывания и возврата записано.

– Записала, – сказала Мартина и добавила тише: – Хм. Любопытно.

Это «любопытно» вдруг прорвало меня. Я стояла в одной сорочке, с яйцом в руках, и всё, что я копила с пятницы, с праздника, с суда, поднялось горячей волной.

– Любопытно?! – закричала я. – Вам любопытно?! Господин судья, вы поставили печать, вы сказали «ничего страшного, оставим в нише», и яйцо чуть не погибло! Слышите, чуть не погибло! Если бы Ганна не послала мальчишку, если бы я не добежала, если бы Ганна не рыдала над ним полтора часа, вы бы сегодня утром принимали у меня похороны! Из-за вашей печати! Из-за вашего закона! Из-за вашего «нужды я не вижу»!

– Ивета, – начала Ганна, но Ренвальд поднял руку, и она замолчала.

Он дал мне закончить. Я видела, как он слушает: не опуская глаз, не меняясь в лице, а потом снял очки, сложил их в футляр и ответил так же спокойно, как говорил про закон на рассвете субботы:

– Вы совершенно правы, госпожа Дрейвар. Я принял решение, исходя из того, что в последний месяц перемещение кладки рискованнее, чем её оставление. Я не учёл, что привязка яйца к вам сильнее, чем я предполагал по субботнему осмотру. Это ошибка расчёта, и она моя, а не госпожи Вейс и не ваша. Я не оправдываюсь, потому что оправдываться нечем: яйцо едва не погибло, и если бы это случилось, ответственность легла бы на меня.

Я замерла с открытым ртом. Я приготовилась ещё кричать, а крикнуть было нечего: он забрал у меня все слова и положил их аккуратной стопкой.

– Ох, – сказала я. – Ну… ладно. Хм. Это неожиданно.

– Для меня тоже, – сказал он, и в голосе его мелькнула сухая нота, которую я бы назвала иронией, если бы не усталость. – Позвольте мне закончить. Новое распоряжение: с сегодняшнего дня яйцо находится там, где ночует мать, под надзором суда. Госпожа Ласс будет проверять его состояние каждый день, в произвольный час, и записывать результаты. Сорванную печать я заново не накладываю, а ваш поступок записываю как действие по необходимости. Гхм. Не обольщайтесь, леди Дрейвар: это не решение в вашу пользу. Это решение в пользу яйца, а вы пока прилагаетесь к нему как источник тепла.

– Источник тепла! – Я даже засмеялась, и смех вышел хриплым, как скрип несмазанной двери. – Ну спасибо, господин судья, меня ещё печкой не называли. Вы бы хоть грелкой назвали, у грелки хотя бы ручка есть!

– Грелка здесь, насколько я вижу, уже есть, – невозмутимо заметил он, кивнув на руки Ганны. – Поэтому предлагаю вам считать себя не грелкой, а, скажем, ответственным хранителем тепла. Звучит менее обидно, хотя по существу то же самое.

Мартина Ласс тихо хрюкнула в папку. Ганна всхлипнула и вдруг рассмеялась, а потом засмеялась и я, и мы стояли втроём среди сорока ниш, две растрёпанные женщины и одна сухая секретарша, и смеялись так, что у меня выступили слёзы. Только судья стоял и ждал, не вмешиваясь, как ждут, пока пройдёт гроза.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.